

Александр Валентинович Амфитеатров

Муж Ермоловой



Александр Валентинович Амфитеатров Муж Ермоловой

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22101225

Аннотация

«Бывают странные времена и обстоятельства, когда вдруг обрадует несчастье, потому что приводит вместе с собою нечто неожиданно утешительное. Так вот теперь вышло с кончиной М. Н. Ермоловой. Откровенно сознаюсь: я не ожидал, чтобы уход ее из сего мира откликнулся таким огромным впечатлением во всей эмиграции. Что нас, москвичей, событие потрясло, понятно. Покойный Дорошевич, бывало, говаривал:

– Счастлив, кто был москвичом, когда в Долго-Хамовническом переулке жил и творил Лев Толстой, а в Малом театре играла Ермолова!..»

Александр Амфитеатров

Муж Ермоловой

Бывают странные времена и обстоятельства, когда вдруг обрадует несчастье, потому что приводит вместе с собою нечто неожиданно утешительное. Так вот теперь вышло с кончиной М. Н. Ермоловой. Откровенно сознаюсь: я не ожидал, чтобы уход ее из сего мира откликнулся таким огромным впечатлением во всей эмиграции. Что нас, москвичей, событие потрясло, понятно. Покойный Дорошевич, бывало, говаривал:

– Счастлив, кто был москвичом, когда в Долго-Хамовническом переулке жил и творил Лев Толстой, а в Малом театре играла Ермолова!

Но ведь в том-то и дело, что она была наша, московская, – уж очень наша, почти исключительно наша. Петербург ее знал мало: за всю жизнь она не сыграла там и десяти спектаклей. В провинции она, кажется, вовсе не гастролировала. Значит, ознакомиться с нею «вся Россия» никак не могла.

Савину, Федотову, Коммиссаржевскую, Лешковскую вживе видели не только все крупные культурные центры России, но и второстепенные города, и дальние окраины. Три первые названные познакомили с своими дарованиями также и Европу, а Коммиссаржевская даже и Америку. Ермолова – никогда никуда.

– Привинчена к Москве, как Иверская! – острил ее супруг, Николай Петрович Шубинской.

Вот чья смерть прошла в свое время совершенно незаметно, хотя постигла она его в Париже, центре эмиграции, а человек он был весьма недюжинный – и ловкий юрист, и политический деятель (не весьма ловкий, а иногда, пожалуй, даже и весьма неловкий), и усердный и влиятельный спортсмен – словом, фигура «сам по себе», а никак уже не только «муж знаменитости».

Известность Н. П. Шубинского как присяжного поверенного была в Москве огромна. Он шел вторым номером за Плевако, причем оба друг друга терпеть не могли. Я знал хорошо обоих. До ораторского дара Плевако Шубинскому было далеко, но делец он был ловкий, изворотливый, говорил превосходно, владел искусством меткой иронии – вообще своей репутации первоклассного адвоката был вполне достоин. Но в то время как победоносному сопернику его Москва любовно прощала все человеческие слабости и прегрешения, Шубинскому она не извиняла ни одного ложного шага, а он был на них весьма способен и усерден.

Не любила его Москва. Едва ли не в той же мере не любила, как обожала Марью Николаевну. И может быть, в нелюбви этой имела немалое значение некая общественная ревность:

– Как смеет антипатичный нам, москвичам, Шубинской быть супругом великой Ермоловой?

Нечто подобное почти прямыми словами высказал мне даже не в Москве, а в Петербурге редактор «Исторического вестника» Сергей Николаевич Шубинской, безмерно уважавший Марью Николаевну и очень мало – своего московского племянника. О нем старик всегда говорил в кисло-снисходительном тоне, будто извиняясь косвенно, что «в семье-де не без уroda».

В годы, когда я был близок с Н. П. Шубинским, я часто задумывался с недоумением, – чем, собственно, он заслужил московскую антипатию? Адвокатские грехи?! Да мало ли адвокатов с грехами пуццами, чем за Шубинским, – однако на них не вешали и десятой доли того неисчислимого множества собак, что на него. Помянуть хотя бы и Плевако. Его юридические и житейские фокусы рассказывали с веселым хохотом, Шубинского – с «благородным негодованием».

Думаю, что в этой разнице повинны не столько деяния Н. П. Шубинского, сколько его странный характер. Ему следовало бы родиться раньше, по крайней мере, лет на сорок, чтобы поспеть взрослым к эпохе байронических героев, Печорина, Батманова, Тамарина и пр. Типичный «сноб» этого рокового типа, он глубочайше «презирал людей» и сам имел слабость казаться гораздо худшим человеком, чем был на самом деле.

А отсюда – стремление озадачивать общество такими речами, а иногда и поступками, что, если бы не всеобщее московское обожание Марьи Николаевны, Шубинскому не раз

пришлось бы более чем плохо. За циническую речь по делу Кетхудова (ограбление почты) он – только ради просьб жены – не был исключен из сословия и отделался лишением права практики на продолжительный срок.

Однажды мне случилось говорить с Шубинским об этом деле. Я высказал ему откровенно, что для меня загадка не столько циническое существо речи, сколько – каким образом такой умный, спокойный, казалось бы, холодный оратор, как Шубинской, мог столь непрактично распоясаться пред судом и публикой, к очевидному вреду и для себя, и для своего клиента? Он повел плечами, улыбнулся длинным лицом (оно было бы очень красиво, если бы не усыпали его мелкие оспенные рябины, – помните, у Лескова: «продолговатый облик Шубинских»?) и с недоумением в странных своих лиловатых глазах ответил четырьмя словами:

– А черт меня знает.

Как он отнесся к постигшей его дисциплинарной каре, лучше всего выявит тот факт, что свой невольный досуг он употребил на перевод какого-то французского сочинения... *об адвокатской этике* (кажется, Молло, если не ошибаюсь), который затем и издал весьма шикарно... Сноб! кругом сноб!

Похоже, что в этом, наружно всегда холодном, человеке с вечною иронической улыбкою и искусственным неопределенным взглядом заперта была и на цепи сидела натура, по существу, очень пылкая и бурная. И, как он ее ни дисципли-

нировал и ни оглаживал, а нет-нет, она сорвется с цепи и пошла брыкаться. А так как на дисциплину и оглаживание она нестерпимо зла втайне, то, прорвавшись-то, непременно сотворит какое-нибудь надругательство над ними.

В частных отношениях Николай Петрович был очень приятен. Любезный, услужливый, благовоспитанный «барин», умягченный демократической школой 60-х и модой 70-х годов и чрезвычайно интересный невероятно пестрым своим знакомством, в котором о каждом и каждой знал всю подноготную. Я был в годы нашей близости московским фельетонистом «Нового времени», и Шубинской, равно как большой мой тогдашний друг, товарищ председателя окружного суда, Евгений Романович Ринк, являлись для меня драгоценными источниками осведомления о бытовой подоплеке Москвы. Тем более что они друг друга весьма не любили, и следовательно, один и тот же факт всегда рисовали мне с двух разных точек зрения и в разных освещениях, а истину, значит, надо было искать посередине.

Обоим я обязан множеством тем, в свое время сенсационных, а Ринку даже и сюжетами нескольких моих беллетристических произведений («Отравленная совесть», «Без сердца», «Елена Окрутова» и др.). Благодаря Шубинскому мне удалось осветить злоупотребления по сооружению кремлевского монумента Императору Александру II, непорядки в московском Беговом обществе, в Воспитательном доме и мн. др.

Как скоро выходил в свет годовой отчет совета присяжных поверенных, то либо я ехал к Николаю Петровичу, либо он ко мне, чтобы вместе просмаковать «там на хартиях написанные» адвокатские прегрешения, разобранные в дисциплинарном порядке. Они печатались, как известно, без оглашения фамилий, под инициалами. И вот тут-то надо было слышать комментарии Шубинского. Если справедливо, что «то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть», то Шубинской очень способен был любить, потому что ненавидеть он умел остро и прочно. А свое сословие, по крайней мере в представительстве московского совета присяжных поверенных, он ненавидел.

Недавно А. И. Куприн в очерке, напечатанном в «Иллюстрированной России», помянул старину московских бегов еще пресненского периода. Шубинской был одним из главных виновников возрождения в Москве этого старинного спорта и развития его на Ходынке. Вся скрытая страстность его натуры обнаруживалась в пылком отношении к беговому делу. Не раз он приводил меня, лишённого всякого интереса к какому бы то ни было спорту, в изумление своею нетерпимую ревностью к другим охотникам-беговикам. Когда строилась беговая беседка, Шубинской прямо-таки заваливал меня документами о непорядках в беговом обществе и неотступно настаивал, чтобы я «обличал». Два фельетона я напечатал, а затем А. С. Суворин, к великому моему удовольствию, зарычал из Петербурга:

– Собственно говоря, с чего это вы вдруг влюбились в рысаков, собственно говоря? Я все жду, чтобы вы – о старове-рах, а вы все о бегах... Черт с ними, собственно говоря!

«Снобизм» почти всегда связан с мистификацией. В высшей степени склонен был к ней и Шубинской. Бывало, придет и начинает кого-нибудь хвалить или чем-нибудь восторгаться. Расписывает всеми красками и узорами, а сам, с двусмысленной улыбкой, посматривает, верите вы ему или нет. И если замечает, что убедил, то вдруг рассмеется и – совсем другим тоном:

– Ну, а если говорить чистую правду, то, извините, другого такого сукина сына, как этот хваленый господин N.N., нет в Москве, не бывало, да и едва ли скоро будет...

Или, наоборот, выложит вам все клеветы и сплетни, которые ходят о каком-нибудь Иксе, с таким лицом и таким тоном, словно сам им твердо верит – а потом:

– И все это о нем – подлейшее вранье нашей гнуснейшей Москвишки. Отличный человек. Травят его потому, что непоклонная голова, к великому князю не подлизывается, взятки не берет, на бабенок не льстится... – И т. д.

Он терпеть не мог Южина – и как человека, и как актера.

– Согласитесь, однако, – говорю ему, – что в «Дельцах» М. Чайковского Александр Иванович превосходит и гораздо выразительнее петербургского Варламова?

Пожимает плечами и пищит на высочайших фальцетных нотах своего странного тенора:

– Да что же тут удивительного, если кинтошка хорошо играет кинтошку?!

А то вдруг нападет на него дух такого добродетельного пуризма, что хоть прямо посылай для него за лестницей в рай. Ставили тогда «Сон в летнюю ночь». Титанию играла Г. В. Панова. Один легкомысленный юноша, разглядывая ее фотографию в роли, заметил:

– Какие прелестные ноги!..

Шубинской вдруг окрысился на него, словно бедняга сказал невесть какое неприличие, начал распространяться о циническом отношении молодежи к искусству; о безнравственном подходе к святыне театра и т. д. Откуда это бралось? Я слушал и только рот разевал, потому что сам-то Николай Петрович иногда в своих суждениях об актрисах отмачивал такие фразочки и словечки, что уши вяли... Из-за его действительно очень цинического отзыва о Лешковской мы однажды едва-едва в самом деле не поссорились.

В подобных капризных переливах сказывалось и впрямь большое «презрение к людям». Как-то раз после сеанса злоязычия я, прощаясь, сказал Шубинскому совершенно откровенно:

– Беда с вами, Николай Петрович. Расставаясь, всегда невольно думаю: ну, других отделал, – что-то, когда за мною дверь затворится, он обо мне скажет?

Он рассмеялся и – тонким голосом:

– А вы, затворяя за собою дверь, возьмите да сами обо

мне что-нибудь скажите... на квит.

По «презрению к людям» он брался за судебные дела без всякой разборчивости, а о клиентах своих отзывался аттестациями, более чем нецеремонными. Однажды, уже много позже, в петербургский мой период, когда я сильно запутался денежно в неудачном театральном предприятии, – хоть объявляйся несостоятельным, – приехал я в Москву искать денег. Шубинской очень помог мне рекомендацией к одному из своих знакомых дисконтеров, определив его с открытостью:

– Этот мерзавец не посмеет вам отказать: я его прошлый месяц от Сибири отстоял!

Ну, и тем же действительно был этот «мерзавец»! Отказать-то он не отказал: вдобавок к эффекту рекомендательной карточки Шубине кого оказался читателем и поклонником Old Gentleman'a из «Нового времени», но проценты содрал такие, что, когда я сообщил их Шубинскому, он уставился на меня лиловыми глазами:

– И вы согласились?

– Да – что же делать?... Необходимо... Да...

Воздел глаза и руки к потолку и пропищал высочайшим фальцетом:

– Александр Валентинович, не будучи пророком, предсказываю, что вы окончите жизнь свою без штанов!

Эту курьезную сцену я даже позволил себе ввести в свой последний роман «Лиляша»: уж очень она московски выра-

зительна.

Мне кажется, Шубинской любил меня (сколько вообще он способен был «любить» человека, ему постороннего и не связанного с ним интересами), равно как и я никогда не питал к нему недружелюбного чувства, несмотря на все дурное, что на него мне наговаривали. Люблю людей талантливых, умных и острых, а он был и талантлив, и умен, и остер. Возможно, что его подкупало в мою пользу мое благоговейное поклонение гению Марьи Николаевны, которого искренность он очень хорошо чувствовал и не мог не ценить...

«Тайна сия велика есть», говорит о браке Апостол. Немногие браки столь оправдывают это изречение, как брак М. Н. Ермоловой и Н. П. Шубинского. Из всех артистических браков, мне известных, этот – самый странный... до непостижимости! «Вода и камень, лед и пламень» не столь различны меж собой своей взаимной разнотой, как разны были эти два существа и, казалось, так чужды одно другому, в вечной, однако, соединенности брачным венцом.

Я не знаю истории их брака и далек от мысли судить и оценивать их брачные отношения. Чужая семейная жизнь, как и чужая душа, потемки. Но это был единственный, на моей памяти, брачный союз, в котором я, будучи хорош и с мужем, и с женою, отлично и неизменно чувствовал, что и с ним, и с нею я хорош по отдельности, а никак не с обоими вместе.

Начать хотя бы с того, что мое личное знакомство с

М. Н. Ермоловой возникло еще в первых 80-х годах, а с Н. П. Шубинским я познакомился только десять лет спустя – и не у него в доме, и не в театральном кругу, а в газетном мире, сотрудничая в «Новостях дня», газете А. Я. Липскеровой.

Для сего удивительного мужа Шубинской был полубогом: высшим оракулом мудрости, светскости, всех блистательных человеческих качеств в мире. У Липскеровых Шубинской был не только «своим», но и распоряжался чуть ли не более авторитетно, чем сами хозяева, типические «нувориши» из веселой комедии. М. Н. Ермолова – не знаю, была ли знакома с Липскеровыми, но в доме у них, в мое время, никогда не бывала. Жена-артистка и муж-адвокат вращались в совершенно различном обществе и, кажется, видались очень мало, судя по светскому вездесущию Николая Петровича, в противность домоседству Марьи Николаевны. Ее увидеть вне театра было чуть ли не более редко, чем белого дрозда, как говорили в старину, или синюю птицу, как стали после Метерлинка говорить теперь.

В громадном своем доме на Тверском бульваре супруги занимали огромную квартиру почти дворцового типа, достаточно просторную для того, чтобы вести в ней два отдельных существования – параллельные, но никогда не сливаемые. Из всех своих посещений М. Н. Ермоловой я припоминаю только один завтрак, имевший настолько «семейный» характер, что присутствовал и Николай Петрович, да и то он не

досидел до конца и умчался куда-то с деловым своим портфелем. Если Шубинской назначал мне свидание у себя дома, это бывало сущим наказанием: он непременно опаздывал к условленному часу, дожидаться же его приходилось в пустынном одиночестве, потому что к деловым посетителям своего супруга Марья Николаевна не выходила, хотя бы даже и к близко знакомым ей самой, как я.

Это было у них распределено педантически – до смешного. Как-то раз Марья Николаевна, видимо, случайно войдя в свой большой зал, увидела меня ждущим и изумилась, что ей обо мне не доложено. Но, узнав, что сегодня я не к ней, а к Николаю Петровичу, преспокойно удалилась, предоставив меня прежнему одиночеству. Вне приемных адвокатских часов Шубинского было и легче, и приятнее ловить в «Славянском базаре», «Континентале», в коридорах или буфете здания Судебных установлений, чем дома.

Полоса чуждости, несомненно лежавшая между супругами, не препятствовала сильному влиянию Николая Петровича на Марью Николаевну в качестве ее критика. К добру или к худу было это влияние, право, не знаю. Восторженнейший ее поклонник, заглазно, очень ревнивый к ее славе, почти не допускавший сравнения с нею других артисток, в глаза он высказывал Марье Николаевне почти исключительно неприятные суждения, в острый разрез с тем, что она слышала от других судей. Неприятные тем более, что обыкновенно очень несправедливые: чем лучше играла в данном спектак-

ле Ермолова, тем придирчивее критиковал ее Шубинской.

Однажды, когда он довел ее своими придирками (за «Сафо») чуть не до слез, я затем откровенно высказал ему, – и присутствовавший Н. Ф. Арбенин меня поддержал, – что решительно не понимаю его странной системы внушать артистке заведомо не то, что он в самом деле о ней думает... Шубинской вытянул лицо длинною лукавою улыбкою и возразил:

– Да, конечно, она играла как ангел, но если я ей скажу, что она была безукоризненна, то она поверит и успокоится на лаврах. Приедет к ней Кабанова (богатая купчиха, большая приятельница Марьи Николаевны), привезет калачей и зернистой икры, и завалятся они, – одна на одном диване, другая на другом, – обе – по какой-нибудь книжонке себе под нос, – и попивая в молчанку чаек, вприкуску с икрою. А как я немножко наколю ее своими булавками, она взволнуется, снова проверит себя, думать будет, работать.

– Однако, Николай Петрович, извините, но почти все, в чем вы сейчас упрекали Марию Николаевну, было совершенно несправедливо, а некоторые ваши советы...

– Нелепы, – как ни в чем не бывало подсказал он. – Это ничего.

– Как ничего? А если она их примет к исполнению?

– Ну, вот еще? Когда же это бывало?! *Разве Ермолову можно учить?* Разве она в состоянии играть так, как ее «научили»? Из всей моей критики она теперь запомнила только

то, что – все хвалят, а Николай Петрович недоволен: значит, есть в роли что-то недовершенное, до чего я еще не дошла, а надо дойти... Ну и будет думать, работать. И вот тут-то вовсе не из критических моих советов и замечаний, а из нее самой всплывут какие-нибудь такие ослепительные моменты, что в следующий спектакль вы только ахнете: покажется она вам совсем новою...

– А вы будете опять браниться?

– А я буду опять браниться.

Не знаю, действенна ли была система Шубинского, не приписывал ли он своей критике больше значения, чем она имела. Сдается мне, что и в ней он больше оригинальничал и «способствовал», чем преследовал серьезную цель какой-то хитроумной педагогической провокации. «Все, мол, так, а я – этак, – с тем меня и бери». Того, чтобы Ермолова следовала его советам, я действительно никогда не замечал, но – что своею придирчивостью он втолковал ей считать его самым тонким, строгим и глубокомысленным ценителем – это несомненно... В действительности же, едва ли он уж так много смыслил в театральном искусстве. Доказывал же он мне однажды, будто известный баритон Титта Руфо (правда, великолепный голос и превосходный певец) несравненно выше Шаляпина как музыкально-драматический выразитель и актер!..

Все, что я вспоминаю здесь, относится к первой половине 90-х годов. Впоследствии, может быть, изменилось. По

крайней мере, в 1899 году, гастролируя в Петербурге (играла Магду в «Родине» Зудерманна), Марья Николаевна встретила меня словами:

– Привезла вам поклон и привет от Николая Петровича... А от вас что Николаю Петровичу отвезти и сказать?

И в дальнейшем разговоре Николай Петрович поминался ею так часто и интимно дружелюбно, как в московское время не бывало...

После революции 1905 года Шубинской объявился в Государственной думе правым октябристом и, кажется, тогда же сделался крупным пайщиком «Нового времени». В этой метаморфозе я его уже не знал. Выступления его в Думе не были удачны вообще, а некоторые и совсем провалены – в результате все того же вызывающего снобизма, который не раз компрометировал его на адвокатской трибуне, а на политической оказался вовсе некстати. Впрочем, и вечный победоносный соперник Шубинского, «московский Златоуст» Плевако, неодолимый в судебном красноречии, как скоро попал в Государственную думу, обманул всеобщие ожидания, явившись в качестве политического оратора слабым, робким и малосодержательным: ему тоже как будто было «нечего сказать»...